

Следовательно, социологическая диагностика вырастает из логики развития социологического знания, из того, что наработанные социологические подходы и методы ориентируются на включенность в социальные и культурные изменения. Для открытой обществу социологии характерно движение к пониманию социума как среды, в которой творчески работают социологи, как среды, которая является жизненно важной для актуализации нового социологического знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния. М., 2005.
Волков Ю.Г. Креативный класс – альтернатива политическому радикализму // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 84–92.
Модернизация России: социально-гуманитарное измерение. СПб., 2011.
Моисеев Н.Н. Математика в социальных науках // Математические методы в социологических исследованиях. М., 1981. С. 7–18.
Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. М., 2001.
Свобода. Неравенство. Братство. Социологический портрет современной России. М., 2007.
Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М., 2008.
Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программы, методы. М., 2004.
Ядов В.А. Каким мне видится будущее социологии // Новые идеи в социологии. М., 2013. С. 25–33.

© 2015 г.

Р. ДЖЕНКИНС

ЧТО ЖДЁТ СОЦИОЛОГИЮ: ВЫМИРАНИЕ, ЗАСТОЙ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

ДЖЕНКИНС Ричард – заслуженный профессор социологии, Университет Шеффилда, Великобритания, почетный профессор университета Ольборга, Дания (E-mail: r.p.jenkins@sheffield.ac.uk).

Аннотация. Представлен взгляд на будущее социологической науки, на ряд её проблем, живо дискутируемых в последние годы сообществом социологов, опирающийся на высказанные Ч.Р. Миллсом мысли в книге “Социологическое воображение”. Рассмотрены три сценария, вынесенные в заголовок статьи. Автор выступает за объединение усилий социологов количественников и качественников, за реализацию принципа – эмпирические исследования – это основа социологии как дисциплины, за постоянную связь социологической теории с эмпирическими исследованиями и др. Основу статьи составила речь при присуждении автору звания почетного профессора университета г. Ольборг.

Ключевые слова: будущее социологии • социологическая теория • социологическое воображение • качественные методы • количественные методы

На вопрос в заголовке можно ответить вопросом: зачем так спрашивать? в чем проблема? Такую реакцию легко понять, но в ней нет проку. Я выскажу ряд соображений о том, почему следует критически размышлять о будущем социологии. Во-первых, не следует полагать, что нечто будет существовать вечно; осторожность скептика в

онтологии лишней не бывает. Несмотря на то, что люди вопреки всем накопленным знаниям склонны жить в повседневности так, будто порядок, организующий наш мир, продлится вечно, на самом деле ничто не вечно. Все науки учат: все меняется, ничто не пребывает неизменным бесконечно долго.

Во-вторых, мы все-таки не можем предсказывать будущее. Можно квалифицированно выводить вероятностные суждения на основе точнейших и надежнейших данных и новейших теоретических представлений о том, как все работает. На основе этих актуарных прогнозов мы можем вторгаться в ход вещей, пытаясь сформировать будущие события. Но мы не можем знать будущее, хотя, конечно, ожидаем, что какое-то будущее непременно настанет. Это неудобство в человеческом существовании усугубляется одним из немногих социологических законов, имеющих универсальное действие: все, что может пойти не так, пойдет не так (а пойти не так может все, что угодно).

Это два самых общих соображения, в которых нет ничего специфического, что указывало бы на необходимость немедленно применить их к социологии, кроме того факта, что применить их можно к чему угодно. Однако есть и третье специфическое соображение в пользу того, что задуматься следует именно сейчас и именно о социологии: оно связано с конкретными причинами для беспокойства и о её нынешнем состоянии, и о будущем социологии, как устойчивом интеллектуальном и академическом предприятии. Я рассмотрю три логически возможные перспективы нашей дисциплины: вымирание, застой и эволюцию.

Вымирание?

С этого варианта лучше всего начать, если только мы помним о том, что не следует ничего принимать как данность: что однажды сделалось, может разрушиться. По сравнению со многими академическими предметами, социология – относительно молодая дисциплина. Само слово в оборот ввел Огюст Конт в 1838 г., а в большинстве университетов в качестве самостоятельного направления подготовки весьма нестрогое очерченная область преподавательской деятельности под именем социологии институционализировалась только во второй половине XX в. – после второй Мировой войны. Можно предположить, что, как новичку в сфере познания, место социологии на небосводе университетского образования все еще непрочно. Есть ли основания для таких предположений?

Думаю, есть. Институционально у нас нет безопасной ниши: другие дисциплины могут претендовать на некоторые, даже на многие части нашего интеллектуального проекта и наследия. Ряд предметных областей возник из социологии. Культурные исследования – один из отпрысков социологии; имея и иные родственные связи, в частности, с филологией, эта предметная область с социологией делят общих интеллектуальных предков, базовые исследовательские вопросы и качественные методы социального исследования. Сходная ситуация с исследованиями медиа. При этом можно сказать, что и культурные исследования, и исследования медиа с лихвой вернули социологии долги, часто под знаком постмодернизма и “культурного поворота”. Широкое поле исследований бизнеса и менеджмента развивалось, стоя, *inter alia*, на плечах социологии организаций. И тут мы имеем поучительную историю: несмотря на свою значимость в интеллектуальной истории социологии, социология организаций в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах переживает определенный упадок в последние три десятилетия, когда развитие бизнес-школ стало стержнем в стратегии университетов в их борьбе за идеологическую приемлемость, укрепление рейтинга и приток финансов из общественного и частного секторов.

Еще ряд родственных дисциплин исторически развивался примерно в то же время, что социология, но параллельными курсами. Между ними много общего. У социальной географии, например, так много общего с социологией в теории и методах, что некоторые её разделы от социологии не отличить (или, если хотите, наоборот).

Исторические и интеллектуальные отношения социальной антропологии и социологии еще ближе; получив специальность социального антрополога и сделав карьеру социолога, автор этих строк воплощает эту близость. Обе дисциплины появились одновременно в Европе и США, имели общую интеллектуальную почву, бок о бок каждая дисциплина развивала свой стиль качественного исследования. Самое большое и самое очевидное различие между социологической этнографией Чикагской школы, например, в лице Уайта, и антропологической полевой работой Малиновского и М. Мид заключено в эмпирических объектах: одни изучали танцплощадки и мелких воришек, другие – людей с копьями в набедренных повязках; одни – общества уличных перекрестков, другие – “примитивные” общества “дикарей”. По мере того, как антропология все больше внимания уделяла городским, промышленным, западным обществам, даже это различие стало стираться; именно этим можно объяснить, почему антропология в области теории ревностно старается дистанцироваться от социологии (вспоминается идея о нарциссизме малых различий, высказанная Фрейдом в “Недовольстве культурой”).

К исторически родственным дисциплинам следует отнести еще, по меньшей мере, три. Социальная психология состоит в интересных отношениях с социологией; например, в том, что символический интеракционизм как школа присутствует и в социологии, и в психологии с общим для обеих дисциплин интеллектуальным предком в лице Дж.Г. Мида. Должно ли быть иначе? Сюда же отнесем исследование политики, как эмпирическое (а не философское) занятие, в котором используются те же методы социальных обследований, что и в количественной социологии. Зловещее предзнаменование (как и в случае с закатом социологии организаций) видится в том, что политическая социология стала терять вес, когда во всей красе и важности заблестала политическая наука [political science]. Наконец, в эту же группу входят социальная политика и государственное и муниципальное управление [social administration] (которую в США называют “public policy”), а также профессиональная подготовка социальных работников; эти области столь близки между собой, что в некоторых университетах живут под крышей одного факультета.

Таким образом, социология пересекается со всеми перечисленными областями – к ним можно добавить и другие, например, социальную историю и исследования развития [development studies] – и со многими из них конкурирует за студентов. Но почему это проблема только для социологии? В конце концов, можно предположить, что предметные пересечения создают сходные проблемы всем дисциплинам. Предположение ложное, ибо социология по понятным причинам – единственная дисциплина, которая имеет пересечение со всеми остальными, а потому именно она является самым широким и обобщающим интеллектуальным предприятием из всех перечисленных. По широте охвата и обобщения, которая способствует формированию всеобъемлющего и целостного взгляда на человеческий мир, социологии нет равных. Но эта же широта не только актуализирует борьбу за студентов и материальные ресурсы, но и ставит вопрос о границах социологии как дисциплины. Понимает ли отчетливо сама социология, что она такое и что делает? И есть ли в обществе отчетливое понимание, чем занимается социология? К этим вопросам я вернусь.

Вроде бы ситуация еще не критическая, но если мои рассуждения верны, есть и другие институциональные и политические проблемы. Учитывая спрос на студентов, от которого многое зависит, таких проблем в Соединенном Королевстве, а возможно и всюду, сегодня две. Одна – в вероятном снижении общего числа студентов, которое происходит, когда систему высшего образования начинает питать меньшая по численности молодежная когорта. Вторая – в том, что, когда простое наличие диплома о высшем образовании перестает давать серьезные преимущества на рынке труда, при выборе вузовской специальности начинают внимательнее смотреть на получаемую профессию; или точнее будет сказать так: соотношение между издержками на обучение и последующими доходами от профессии начинает взвешиваться как никогда тщательно.

То, что эти проблемы касаются почти всех гуманитарных и общественных дисциплин, не повод для самодовольства, поскольку ситуация в социологии может отличаться от ситуации в других дисциплинах. Например, по понятным причинам, в Соединенном Королевстве социология по своему культурному капиталу и социальному статусу не дотягивает до “традиционных” (история, лингвистика, философия), “новых” (политическая наука с её связями с миром правительственных и медиа-элит) и “элитных” по самосознанию дисциплин – социальная антропология, ведущая родословную от Империи и “золотого треугольника” Лондон–Оксбридж.

Ситуация усугубляется и тем, что социология, как источник понимания человеческого мира, прямо конкурирует с повседневным здравым смыслом, что делает ее уязвимой для критики за то, что она не является “собственно дисциплиной”, что её “легко освоить” и что в ней “нечего учить”. И, наконец, по политическим преданьям бурных 1960–70х гг. в социологии видят нечто левацкое; ее часто путают с социализмом плохо информированные и готовые сразу браться за топор граждане.

Тем не менее, все не так плохо, поскольку полное вымирание кажется маловероятным. В крайнем случае, не будем недооценивать мощь институциональной инерции: организации, особенно бюджетного сектора, чрезвычайно живучи, а всякая учрежденная деятельность начинает восприниматься как необходимая данность. Кроме того, прекращение уже институционализированной деятельности связано с издержками, которые не стоит недооценивать. Но и на институциональную инерцию полагаться нельзя: благодушию мешают слишком многочисленные британские примеры того, как институциональная перестройка может влиять, вплоть до расформирования, на факультеты социологии.

Важнее то, что однажды открывшийся ящик Пандоры трудно, даже невозможно, закрыть, пока область познания находит себе применение в мире. Идеи могут терять в заметности и значимости, но их трудно искоренить; область познания может сжаться, но выстоять. Богословие, философия, классическая филология, вокруг которых строилась жизнь университетов XIX в., выжили, пусть даже и превратились в редкие виды, достойные занесения в красную книгу.

Даже когда казалось, что социология в Дании была повержена министерским указом в конце 1980-х, социологи никуда не исчезли. Они нашли себе интеллектуальное прибежище в исследовательских институтах и в других дисциплинах (тут междисциплинарные пересечения оказались весьма кстати). Со временем шло восстановление и очень быстрое, так что сегодня социология в Дании переживает период экспансии. Одно из главных объяснений выживания датской социологии заключается в том, что академический мир всегда был и сегодня стал еще более интернациональным и глобальным (при сохранении, слава богу, национальных традиций). Социология как дисциплина нигде не исчезла, и пока это так, ее возвращение в датские университеты было практически неизбежным.

Приведенные аргументы, конечно, не гарантируют социологии выживания, а скорее ставят важный вопрос: что это будет за социология и как она выживет? Тут же встает новый вопрос: действительно ли важно, выживет или нет то, что называется социологией? Допустим, это важно хотя бы потому, что возможности добывать средства к существованию в настоящем и будущем у множества людей, как минимум, у наших выпускников, зависят от того, как долго просуществует социология. Но для собственно познания это не так важно по нескольким соображениям. Во-первых, надо смотреть шире и быть скромнее: социология важна как аспект коллективной рефлексии, присущей эпохе современности [modernity], но она – лишь один из многих аспектов этой рефлексии. Исчезни социология, и большинство людей даже не заметили бы ее отсутствия; более того, в мире полно гораздо более значимых и насущных проблем, чем вопрос о том, есть у социологии будущее или нет.

Во-вторых, дело не в названии дисциплины и не в ее институциональном оформлении; важна сама деятельность. То, что большую часть, если не все, из того, что

делает сейчас социология, могло бы делаться – и делалось бы – под вывеской других дисциплин, вытекает из пересечения областей знания, о котором говорилось выше. Здесь мы возвращаемся к вопросу о границах дисциплины: социологи работают в совершенно разных интеллектуальных контекстах, многие из которых социологией не называются. Кроме того, слабость границ дисциплины означает, что многие социологи приходят в неё с багажом других дисциплин. Социология, пожалуй, одна из редких дисциплин, в которой можно работать – в моем случае полным профессором – без базового образования. Нечеткость, проницаемость границ дисциплины имеет не только организационно-институциональную, но и интеллектуальную природу. Памятуя о “полуполном стакане”, особенность границ необязательно ведет к их проблематизации: невозможность строго сказать, где социология, а где нет, открывает простор для творчества, обогащает социологию и интеллектуально, и кадрами.

Сказанное оставляет надежду, что социология до своего исчезновения еще отметится на экранах радаров ярчайшими вспышками. Можно спать спокойно, ибо перспективы социологии не более страшны, чем перспектива столкновения Земли с гигантским астероидом. Грозная туча на горизонте социологии скорее обещает, что она и дальше сохранит свою настоящую форму. Поэтому я перехожу к следующему возможному сценарию.

Застой?

Дальше нельзя тянуть с вопросом: что есть социология? Отвечая на него, я не буду опираться на прописные определения социологии, которые давали Дюркгейм и Райт Миллс; какой социология должна быть, поговорим позднее. Сейчас посмотрим, что такое социология и что делают социологи здесь и сейчас. Сразу обнаружится очевидное разнообразие национальных и региональных традиций: на практике социология как дисциплина в разных местах разная. В оправдание этой особенности можно сказать следующее.

В своих наиболее глубоких основах социология – это исследование (под ним я понимаю основанный на теории анализ систематически отобранного эмпирического материала) коллективных, т.е. неиндивидуальных, измерений человеческой жизни, как бы их ни определяли: образцы поведения, социальные тренды, институты, межличностные взаимодействия или разделяемые идеи и концепты. Эти определения обычно подводят под метафизические понятия “общество” или “культура”. Социологически исследуя человеческий мир, мы стремимся понять две вещи: отношения между индивидуальными и коллективными измерениями жизни и социальные изменения. Каковы важнейшие образцы и тренды деятельности, которую мы называем социологией с момента ее появления в качестве новой университетской дисциплины в 1890–1900-х гг?

Социология относительно рано распалась на школы, часто заимствовавшие – заимствующие и сейчас – идеи из политики, идеологии, других областей. К тому же, она распалась на количественную и качественную социологии, которые разошлись так, что сегодня мало кто из социологов может с полным правом претендовать на двойное методологическое гражданство. Количественное исследование не без оснований стало образцом совершенства в методике, триумфом формы над содержанием; а в США, например, оно вообще стандартное мерило статуса и репутации социологии. Со своей стороны качественное исследование огородилось в уютном гетто с рутинным распорядком, где безраздельно царят фокус-группы и полуструктурированные интервью.

Появившиеся вместе с методологической схизмой “от сих до сих” специальные социологии – социологии классов и стратификации, религии, родства и семьи – со временем превратились в интеллектуальные бункеры и башни, коммуникация между которыми редка и бессодержательна. Общесоциологическая компетентность находится на грани вымирания.

Пожалуй, наиболее разрушительный раскол случился между эмпирической социологией и социологической теорией. Отмечу следующее. Во-первых, социологи-эмпирики берут из теории референтную рамку и словарный запас, как необходимый при публикации орнамент, а собственно теорию почти никогда сколь-нибудь строго не проверяют. Работу ведут внутри выбранной парадигмы, которая и подтверждается. Когда метатеория принята, как данность, это еще можно понять: в конце концов, никто ее эмпирически проверять не собирался. Но плохо, когда этот подход распространен на “теории среднего радиуса” (Мертон), которые как раз и разрабатываются ради проверки в исследовании. Эта ситуация является едва ли не карикатурой на “нормальную науку” Куна.

Во-вторых, преподавание и разработка методов исследования институционализировано в собственный специализированный бункер. Чтобы сделать карьеру, иметь знания о методах исследования порой полезнее, чем проводить исследования самому: кабинетные методологи, умеющие преподавать методы, но не умеющие применять их на практике, не столь редки. Возможно, здесь уже произошли подвижки, поскольку “социальное исследование” теперь охватывает множество дисциплин, и специфически социологических методов не осталось.

Наконец, теоретическая социология влилась в более широкое предприятие под названием “социальная теория” – самодостаточное и самозабвенное интеллектуальное занятие, объединяющее, помимо социологов, философов, политологов [political scientists], антропологов и представителей других дисциплин. Социальная теория – это метатеория (Миллс называл ее “великой теорией”) не потому, что ее не подтвердили эмпирически, а потому что утверждения, как они в ней формулируются, эмпирически непроверяемы. Несмотря на то, что вопросы о природе социальных феноменов вроде бы ключевые для метатеории, поражает то, что сегодня к онтологии мало кто обращается. Особенно после бесплодного “спора о структуризации”, когда мнения, похоже, разделились: одни стали утверждать, что все эти проблемы давным-давно решены, другие призывали сменить тему и заняться чем-нибудь другим. В результате вместо прояснения онтологических оснований социальная теория сфокусировалась на диагностике настоящего и прогностике будущего современности [modernity].

Но самый большой вред исходит от того, что социальная теория современности почти полностью освободилась от полезных ограничений – от дисциплинированности, обеспечиваемой тесной связью с эмпирическим исследованием. Этот пробел заполнен спекулятивными эссе; сдобнив анекдотами и вырванными из контекста яркими образами, их выдают за серьезную социальную критику и интерпретацию современности: Бауман о текучей современности, Урри о мобильности, Калхун о космополитизме, Гидденс об идентичности и трансформации интимности, Хабермас о публичной сфере, перечислять можно долго. Даже такие социальные теоретики, как Бурдьё и Латур, явно пытавшиеся навести мост между теорией и эмпирическим исследованием, не преуспели, соблазнившись интеллектуально-профессиональными лаврами “теоретиков”. Говоря словами Баумана, социальная теория перестала “отвечать за свои слова”: она больше ни за что не отвечает.

Социальная теория превратилась в самореферентную, важную только для нее беседу с собой. Социальные теоретики больше общаются между собой, чем с кем-то еще; говорят они больше друг о друге, чем об эмпирическом мире человеческого опыта. Социальная теория превратилась в самовоспроизводящееся и самоуверенное предприятие, в пространство, где в бессмыслице – недолго, пока ей рукоплещут – могут находить смысл. Сказка Андерсена о новом платье короля сегодня звучит актуально, как и в XIX в.

Язык, на котором теперь стало почти *de rigueur*¹ писать серьезную социальную теорию, – еще одна проблема. Язык теории, в общем, не доступен ни большинству налогоплательщиков, ни тем, кто отвечает за расходование налогов. То, что язык

¹ Строгий дресс-код (фр.).

ограждает их от понимания теории, даже хорошо: в конце концов, что бы они с большей ее частью сделали, если бы все-таки прочли ее и поняли? Чем плотнее и труднее текст, тем лучше; непроницаемость стала знаком серьезности намерений автора; фарисейство обязательно для тех, кто хочет прослыть политическим или социальным радикалом; если бедные, глупые читатели не понимают его, то от своей неспособности и некомпетентности. Вопреки, а вернее, благодаря языковому барьеру, социальная теория стала ареной, где *par excellence* делаются большие социологические репутации. Она главный источник профессионального культурного и социального капитала последователей и учеников великих теоретиков-пророков. Отчасти поэтому статус прибывает тому, кто способен выказать понимание по-настоящему сложной эзотерической доктрины.

“Проблема теории”, как я ее описал, отчасти возникла потому, что социология не делает явных эмпирических открытий: социология не может похвастаться ничем, что можно было бы сравнить с бозоном Хиггса, пенициллином, ранее неизвестным видом птеродактиля, или хотя бы архивным материалом, проливающим на ключевой момент истории совершенно иной свет. В отсутствие дисциплины и стимулов, исходящих из потребности реагировать и понимать принципиально новые эмпирические данные, – я вполне допускаю, что научные открытия могут вдохновляться теорией – главными двигателями развития теории в социологии стали мода и личная прихоть. Судьба постмодернизма и сонма остальных постизмов, преуспевших в 1990-е гг., весьма поучительна: социальная теория дала стаду попастьись... и двинулась на нетронутые теорией пастбища.

Решение повседневных эмпирических задач не требует больших изменений концептуального аппарата, поэтому наблюдаемая некумулятивная теоретическая нестабильность приводит к тому, что социальные теоретики регулярно с большим воодушевлением изобретают заново то одно, то другое концептуальное “колесо”, и их изобретения обычно остаются без признания, даже не замечаются. В качестве примера приведу теоретическое утверждение о том, что этническая идентичность, не являясь ни примордиальной, ни императивной, в определенных ситуациях может быть гибкой и изменчивой: об этом писал Э. Хьюз в конце 1940-х гг., явно независимо от него об этом сказал Ф. Барт в конце 1960-х гг., а в 1990-х гг. постмодернисты – сюрприз, сюрприз! – трубили об этой радикальной новации. То, что они добросовестно заблуждались, было бы смешно, если бы не было так грустно.

На теоретическую новизну часто претендуют и просто изобретением неологизмов. Под новым именем и новым соусом подаются давно любимые блюда социологического меню: “интерсекциональность” [“intersectionality”] – хороший, но не единственный пример такого рода. Погоня за видимостью интеллектуальной новизны – без которой рынок репутаций, господствующий в поле социальной теории, перестанет работать – скрывает бесконечную интеллектуальную карусель: падающих с лошадок мертвецов сменяют новые рыцари, вооруженные новыми словами, но идеи-то старые... и воюют со старыми ветряными мельницами. Возникшая коллективная интеллектуальная амнезия подпитывает неумолимую пляску смерти, нанося громадный ущерб социологии.

Но довольно. Быть может, автор видит застой там, где есть парадигма нормальной науки, устроившейся и устоявшейся, в которой не происходит фундаментальных подвижек. Все трубят об обновлении, но это только кажущийся парадокс. “Застойная парадигма” своим избранникам раздает награды за интеллектуальное мракобесие, а не за широкое распространение знаний, и отдаляет социологию и социологов от граждан, своими налогами поддерживающих все предприятие.

Всё же не стану утверждать, что со времен “основания” не было ничего нового в социологической теории и методах. Эра изменений еще была в 1950-х гг., возможно захватив 1960-е гг., когда дисциплина обрела сегодняшние форму и содержание в важнейших аспектах. Но привлеку внимание к единственной выдающейся новации последних 50 лет, затронувшей и теорию, и метод. Эта новация идеологическими корнями уходит в политику начала XX в. и социальные движения 1960-х гг., набирая

обороты на протяжении 1970-х гг. Она стала возможной благодаря послевоенным изменениям в доступе к высшему образованию и политике в западном мире, а также изменениям в науке, экономике и общественной жизни, произошедшим в 1960-е гг. Эта новация возникла под давлением неумолимой логики простого эмпирического факта, что дисциплина, претендовавшая на изучение всех сторон “общества”, совершенно игнорировала половину человечества.

Феминизм второй волны требовал признать женщин в качестве полноправных участников человеческого мира, что для социологии значило признать женщин и достойным объектом исследования, и полноправными коллегами. Без преувеличения это событие потрясло дисциплину до самых оснований в интеллектуальном, академическом и профессиональном аспектах: признание “другой половины” человечества принесло качественные и количественные изменения, повлияло на теорию и метод. Не будет ошибки сказать: феминистская социология – и в целом междисциплинарные “женские исследования” – институционализировалась в отдельную нормальную науку, создала собственную герменевтику социальной теории, часть которой абсолютно не доступна для понимания, если не бессмысленна, а очень многие работы написаны совершенно эксклюзивным языком.

Все же феминистская критика социологии ценна тем, что показала: теории и метод могут меняться, однако изменения вызывает отнюдь не теория; к изменению познавательных возможностей социологии вели события в социальном мире и столкновение социологии с упрямыми фактами эмпирики. Здесь я подошел к третьей перспективе: к эволюции социологии.

Эволюция?

Из сказанного должно быть очевидно, что я выступаю за движение вперед, за изменения к лучшему. Но в каком направлении двигаться? Начну с методов исследования, потому что убежден: эмпирическое исследование – основа дисциплины (должно быть основой).

На словах широко признается идея, что методы количественного и качественного исследования нуждаются в воссоединении и что серьезная подготовка в обеих областях должна стать нормой социологии. Также широко признано, что пора от слов переходить к делу. Но с чего бы начать?

Если начать с обучения количественным методам, надо отбросить распространенные предубеждения, что (а) количественные методы трудны и (б) студенты отказываются их выбирать. Конечно, если представлять количественные методы сложной заумной материей, разобраться в коей могут лишь уникамы с выдающимися математическими способностями, то выбирать не будут. А много ли преподавателей количественных методов начинают курс с ободрения студентов, что количественное исследование – не столь трудная вещь и от него можно даже получать удовольствие? Стоило бы попробовать. Отчасти проблема в том, что количественное и качественное исследования превратились едва ли не в отдельные дисциплины, при этом количественное исследование – удел элитного меньшинства. Но любыми способами нам нужно расколдовать количественное исследование и сделать его более доступным (ибо в нем нет почти ничего сложного).

В то же время, обучая качественному исследованию при необходимой опоре на личные переживания, нужно выйти за рамки рефлексивного рассказывания историй. Нужно более амбициозно подойти к разнообразию методов и требовать больше воображения и большей тонкости анализа от наших студентов (да и, к слову сказать, от многих профессионалов, практикующих качественные искусства). Полуструктурированное интервью с промышленным размахом поставили на поток, но это лишь один метод из многих, причем не самый интересный. Качественное исследование нужно дерутинизировать и восстановить весь спектр применения его возможностей на практике, а не читать курс исключительно ради зачета.

Наконец, в количественном и в качественном исследованиях на уровне пост-вузовского образования нужно предотвратить упрощение аспирантских исследований, которые штампуются как калоши из-за финансовых нормативов и тупых, хотя и благонамеренных чиновничьих интервенций вроде санкций за защиту диссертации не в срок. От аспирантов нельзя ждать ярких, интересных, небанальных работ, если ориентировать их на шаблон, по которому надо сверять необходимый для защиты минимум интервью, анкет и времени, затраченного на наблюдение: два параграфа с обзором литературы, один параграф о методах, три параграфа о результатах и один параграф – их обсуждение.

В принципе сформулированные пожелания к методам реализовать можно (правда, скорее всего, не так, как хотелось). Менять социальную теорию много трудней. По сути, её нужно поставить на службу эмпирическому исследованию, переформатировать под эмпирическое исследование, лишить ее солипсическую активность автономии и высокого статуса. Если в этом предложении кто-то увидит попытку избавиться от “социальной теории”, пусть так. Интеллектуальная стратосфера не лучшее место для социологии: наша миссия заключается в участвующем наблюдении за перипетиями повседневной жизни, в подробном документировании поведенческих образцов среднего радиуса охвата, в идентификации и интерпретации эмерджентно возникающих трендов в процессах институционализации и их исходов. Нам нужно “пачкать” руки в эмпирике, а свойственная нынешней социальной теории интеллектуальная брезгливость для этих задач не годится.

Таких перемен мы едва ли добьемся: видные социальные теоретики по своей воле не сдадут своих позиций; институциональную инерцию трудно преодолеть; университет, только что потратив небольшое состояние на привлечение социального теоретика с международной известностью, едва ли отнесется к этой идее сочувственно; судя по каталогам издательств и журналам, этот рынок процветает. Почему он – рынок – не обвалился, ответ может стать предметом интересной диссертации. Обсудить его в научном сообществе определенно нужно, несмотря на сомнения (памятуя, что Ч.Р. Миллс не смог ничего изменить): можно ли с этим что-нибудь сделать? Вряд ли нужно делать вид, что мы здесь до сих пор чего-то не знаем.

Еще одна проблема. Если верно, что социология в самом деле не развивается из-за отсутствия радикально значимых эмпирических открытий, – которые можно было бы сделать, проводя новые эксперименты или используя новые исследовательские технологии, – как ее можно или нужно двинуть вперед? Если смотреть реалистично, современная социология прирастает знанием, либо исследуя то, что ранее игнорировалось (атеизм – пример важного социального феномена, который ждет своей социологии), либо, наблюдая и участвуя в изменении человеческого мира (примером служит глобализация). Однако так было не всегда. За первые 60 лет своей истории молодые дисциплины – социология, социальная антропология и другие – пережили период плодотворнейшего развития в теории и методологии и консолидировались как ориентированные на практику интеллектуальные предприятия. Этот период завершился в 1960-е гг. Помимо феминизма, после 1960-х гг. мы не видим ничего, кроме регулярных и безуспешных попыток изобрести “теоретическое колесо”.

Если мы хотим отказаться и от погони за иллюзорной новизной, и от солипсического чуждого эмпиризму теоретического величия, нужно свыкнуться со скромной идеей: у нас есть целый инструментарий базовых концептов и методов, чтобы документировать и анализировать человеческий мир в его изменении. В этом свете социология предстает интеллектуально острым и методологически сильным аналитическим и критическим комментарием человеческого мира и его изменений, неоценимым вкладом в историческую летопись. Нельзя сказать, что такое будущее отвечает чаяниям каждого, но, по меньшей мере, оно было бы отмечено добродетелями интеллектуальной добросовестности и практицизма. Кроме того, оно могло бы воодушевить нас на общение с публикой более тесное, чем нам это до сих пор удавалось.

Принять такой подход совсем не есть отказ от развития теории и методов. Я говорил, что вопросы социальной онтологии – о природе феноменов, которые социология считает своей исконной территорией – в гламурном мире международной социальной теории задвинуты на задний план. В будущем социологии, которое я пытаюсь вообразить, нам нужно заново пересмотреть принятые без рефлексии понятия “общество”, “социальная структура”, “социальные группы”. Возьмем пример “социальной структуры”, одно из фундаментальных часто употребляемых понятий в лексиконе профессионалов. Его базовая идея, как метафора, взята то ли из биологии, то ли из архитектуры. Но что такое “социальная структура”? Что это понятие на деле означает? На эти вопросы можно найти массу ответов, но многие не ясны, и ни с одним из них нельзя согласиться, что весьма примечательно и не может не вызывать беспокойство о дисциплине, претендующей на серьезное к себе отношение. Поскольку понятие социальной структуры применяется повсеместно и некритично, оно стало совершенно бессодержательным и бесполезным, изменить тут что-то очень трудно. И все же нужно хотя бы начать разговор о том, как разработать пригодную для эмпирического исследования онтологию человеческого общества, которая переводилась бы на язык наблюдаемых повседневных реалий человеческой жизни и опыта, а не на язык метафизики “социального”.

Другая основополагающая идея социологии, настойчиво требующая нашего внимания, – это избитое различие между социальной конструкцией и природой. Идея социального конструирования была в самом сердце социологического предприятия с самых его истоков – имена Маркса, Дюркгейма, У. Томаса сразу приходят на ум – и, возможно, стала наиболее значимым достижением социологии, ее величайшим даром публичному дискурсу, политике и культуре. Если мы хотим защитить это наследие, нам нужно критически рассмотреть идеологические фильтры и шоры, мешающие признать, что некоторые аспекты человеческого поведения, которыми интересуется социология, не есть целиком результат социального конструирования. Если мы хотим отстоять ценность социального конструктивизма, мы должны спокойно признать его границы. Это трудно, хотя бы в силу высокой политической чувствительности к вопросам гендера, инвалидности, сексуальности и т.п., но не невозможно. В награду мы получим надежный социальный конструктивизм, которому не нужно будет ни извиняться за себя, ни закрывать глаза на какие-то неудобные истины (в частности, касающиеся тела).

Наконец, последняя область, которая ждет теоретической работы: нам нужно свыкнуться с непредвиденностью и вероятностными аспектами человеческой жизни. И в теории, и по существу мы заняты поиском образцов [patterns]: это – фундамент научного предприятия (и основной принцип человеческого познания). Но в мире человека, быть может, больше места для вероятностных событий, чем мы думаем, даже больше, чем в мире природы. Проблема здесь в том, что от нас ждут (другие, да и мы сами) открытия образцов, желательно хоть с какой-нибудь предсказательной силой. Однако есть риск, что в процессе поиска образцов мы мысленно укладываем человеческий мир – и себя, аналитиков этого мира – в прокрустово ложе.

Из сказанного следует, что нужно учиться общаться с как можно более широкой публикой. Отчасти эту проблему можно решить, упростив стиль социологического письма, следуя заветам Ч.Р. Миллса. Но это не все. Почему мы благодушно наблюдаем, как книги, написанные психологами, экспертами по менеджменту, экономистами и прочими, продаются в аэропортах? То, что в аэропортах есть аудитория, подтверждается тем, что “Фрикономика” Левитта и Дабнера стала в 2007 г. бестселлером; книгу, которую рекламировали как “диссидентскую экономику”, точнее сказать, как упрощенную – на самом деле, и не очень высокого качества – социологию и социальное исследование. Многие социологи могли бы написать лучше. Что мешает такому участию в общественной жизни? Или у социологии менее позитивная идентичность бренда, чем у психологии и экономики? Если так, это странно, потому что, несмотря на претензии, предсказательная сила психологии и экономики на поверку не раз ока-

зывалась весьма скромной. Социологии непременно нужен маркетинг. Или мы боимся уронить профессиональную репутацию среди коллег, если покинем башню из сложенной кости? Если так, за социологию грустно. Или мы просто не придаем значения общественному участию? Не знаю ответов, но вопросы задать надо.

В заключение. Я намеренно и по необходимости предельно обобщал. За обобщениями, как и за критикой современной социологии, стоят многие и многие социологи, практикующие собственные версии социологии, которую я отстаиваю. В противном случае не было бы предмета для разговора, потому что битва была бы уже проиграна (пока это не так).

Эта битва, можно сказать, идет не ва-банк. У меня нет особого желания, чтобы, например, социальные теоретики просто исчезли; или, по крайней мере, не все. Однако для меня бесспорно, что социальным теоретикам следует (а) стать интеллектуально более демократичными в том, что и для кого они пишут; (б) последовательнее принять эмпирическую установку по отношению к человеческому миру; (в) начать относиться к себе менее серьезно. В конце концов, социальная теория – всего лишь социальная теория, и многое из того, что в ней сделано, со временем просто исчезнет, подвергнется грызущей критике марксовых мышей (и их цифровых аналогов). А эмпирические богатства социологии будут читать, хотя бы как исторические летописи.

Упоминание истории напомнило о предмете, который я не затронул, но который тоже заслуживает упоминания. Социология возникла, как попытка понять тектонические социальные изменения XIX в.: индустриализацию, массовую миграцию, урбанизацию, секуляризацию и др. Говоря иначе и рискуя впасть в смертный социологический грех реификации, социология – это попытка со стороны модерна самопостижения и саморефлексии. Поэтому зачарованность модерна социальной теорией и понятна, и полностью оправдана. Однако мы постепенно удаляемся от интеллектуальных оснований в истории, принимавшихся пионерами социологии как данность. Социология без чувства истории – плохая социология, и гальванизирование новизны, о чём я говорил выше, – один из её недостатков. Нам нужно вернуть социологию на твердую историческую почву и хорошо помнить собственную интеллектуальную историю.

Последнее. Мою жесткую критику “нормальной науки” социологии за ее сегодняшнюю одержимость социальной теорией можно понять так, будто я говорю, или подразумеваю, что настоящий корень проблемы – ограниченность и застой нормальной науки. Я так не думаю, и потому представил позитивный проект с фокусом на эмпирику нормальной науки социологии, который скромнее в амбициях, конструктивно критичен в части общественного участия и признает своей задачей на основе систематических данных истолковывать мир (и, пожалуй, еще помогать его изменениям). Дело не в нормальной науке *per se*: как показал Кун много лет назад, нормальная наука – это просто стиль работы организованных ради познания предприятий. Нормальная наука не препятствует эволюции, но фактически создает предпосылки для возникновения препятствий. Нет повода самоуспокаиваться: бдительность всегда нужна, если мы намерены предупредить скатывание нормальной науки к самопоглощающему и самодостаточному застою.

Всякий, кто знаком с историей социологии, поймет, что я ничего нового не сказал. Тот факт, что меня вдохновил Ч.Р. Миллс, что я ощутил потребность повторить его призыв к оружию через 55 лет после выхода “Социологического воображения”, лучше всего характеризует мое видение текущей ситуации. Я согласен с Миллсом и не думаю, что озвученные проблемы неразрешимы (хотя ясно, что их нерешённостью мы обязаны упорству социологов, отсутствием воображения воспроизводящих эти проблемы от поколения к поколению). Как и Миллс, я полагаю, что бороться с ними стоит. Если смотреть на вещи трезво, эта борьба, как и решение этих проблем, может стать свойством дисциплины, неотъемлемой частью занятия социологией и того будущего, в котором социология будет не прозябать, но процветать и оправдывать разумные ожидания.

Перевод О.А. Оберемко (Департамент социологии; Центр социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ).